

СВОЯ

Есть манера — побивать покойником живых, о чем, собственно, еще Боратынский — «чтобы живых задеть кадиллом», — и тянет сказать, что все повторяют банальщину, потому что не помнят, когда открывали Битова в последний раз. Отсюда ярлык «постмодернист», ничего не объясняющее «интеллектуал» и сетование на тему «ничего равного себе раннему» (или зрелому). И тут бы сказать — все это неправда, а правду я сейчас вам выложу! Но Битов трудноопределим. Ясно, что эти штампы мимо, а что не мимо? Не мимо, думаю, вот что: мы будем постепенно нащупывать, в процессе письма, как делал он сам, это его метод, и он срабатывает, делая читателя соучастником; топчется, наворачивает круги и вдруг прямо говорит то, что думать и говорить нельзя.

Не мимо то, что он писал так, как хотел. То есть был свободен от любых обязательств, включая обязательства перед собой. Не хотел после пятидесяти — даже после сорока — сочинять шедевры, ну и не сочинял. Вообще писал как бог на душу положит. Он мог писать очень хорошую шестидесятническую прозу, что доказал своими первыми двумя книгами, но отошел от нее уже в третьей. Каково место Битова в том исключительно плотном ряду, в контексте семидесятых годов, когда работали Аксенов и Трифонов, Шукшин и Стругацкие, Казаков и Распутин? (И Маканин, с которым их обычно упоминали в паре.) Как было себя обозначить на таком фоне? Думаю, Битов был наиболее свободен от канона, даже собственного: Трифонов, например, выработал манеру — до сих пор непревзойденную — и этой манере следовал. Битов каждую вещь делал по-новому, то лучше, то хуже. Можно было написать не один, а пять романов в эстетике «Пушкинского дома», но Битов предоставил это эпигонам. Можно было тиражировать «Улетающего Монахова», но он не стал. Пожалуй, в поздней манере, обозначенной «Уроками Армении», в манере свободных путевых записок написал он больше всего, — но и здесь не повторялся. А когда не хотел писать — просто не писал: разговаривал, пил, сочинял довольно дежурные предисловия или выступал по календарным поводам.

Битов был одним из очень немногих, кто прекрасно чувствовал свое время (Трифонов, кстати, тоже — и понимал, что скоро оно закончится). Его время было — вторая половина шестидесятых и первая — семидесятых, когда, собственно, он и сделал все лучшее. Это время сложное, многослойное, тяжелое, вязкое, скучное снаружи, страшно интересное внутри: все характеристики его прозы. В это время можно было вписываться в систему и делать работу, а можно было самовыражаться без оглядки на контекст, что-то публикуя, а главное, держа в себе. Битов выбрал стиль восхитительного своеволия, отчасти саморазрушения — не столь радикального, как у Вен. Ерофеева; стиль свободного скитальчества по городам и текстам.

Он позволял себе все то, чего советская проза, даже и самая свободная, не позволяла. Считалось, что роман не должен быть литературоцентричен, — а он написал книгу, словно намеренно кажущую фигуру всем, кто требует от литературы жизнеподобия и знания жизни. Считалось, что нужен срез жизни, внятный герой — его герой подчеркнуто вял, рефлексивен, он явный и сознательный аутсайдер, не Лев, а Лева, и живет он в литературе, а не в унылой ленинградской реальности. Описаний мало — все больше мысли по поводу. Битовская проза обходится без героя, почти без действия, без быта почти — она ловит авторские состояния, ну и достаточно.

Битов вел себя с той свободой, какую может позволить себе человек, уверенный в своей уместности. То есть человек, шире говоря, уверенный в том, что есть Бог (и доказательства этого обнаруживаются в себе, в своей несомненной творческой способности и сложности, а не во внешнем мире, который обычно ненадежен). Он в этом никогда не сомневался и прямо на эту тему высказывался. Из всех современников наиболее тесная внутренняя связь была у него с Ридом Грачевым (Вите), который сходил с ума и знал об этом. И в миг, когда безумие окончательно застлало ему горизонт, — Битов жил уже в Москве, и вдруг его накрыло при спуске в метро отчаяние такой силы, которого он не знал в жизни. Ему хотелось биться головой о колонны, и какой-то голос в нем кричал: без Бога жизнь бессмысленна! (Так он рассказывал.) Спускаясь в метро, он каким-то образом сумел подняться на свет, а Грачева затянуло безумие. И Битов всегда об этой возможности помнил — почему и оставался таким рациональным даже в собственных безумствах. В основе всего лежала уверенность в осмысленности и гармонии мира, и потому он сделал все, что хотел, а чего не хотел — не сделал.

У меня с ним было не так много осмысленных разговоров. Однажды он сказал фразу, которая нравится мне больше всей его прозы. Летели мы в самолете с какой-то книжной ярмарки, сидели рядом, я еще тогда пил понемногу. Самолеты я не очень люблю. Тут что-то в звуке этого самолета изменилось, я и говорю: «Андрей Георгиевич, что это?»

— Падает, наверное, — сказал Битов невозмутимо, попивая вискарик.

— А как вы думаете, — спросил я, — вот я понимаю, конечно, что душа бессмертна, но куда денется мое «я»?

— Твое «я», — сказал Битов, — не более чем мозоль. Мозоль от трения души о внешний мир.

Меня эта формула совершенно успокоила, и я отдался на волю Божию. И когда мне разные люди говорили — а иногда и сам я думал, — что в прозе Битова слишком много умствований, а то и умничанья, а то и чесания левого уха правой пяткой, я возражал (в том числе и себе), что он может себе это позволить. Если у него в случайной фразе столько точности и ума, то, наверное, и в этих умничаньях есть исключительный смысл, мне неведомый. Алла Драбкина

Умер Андрей Битов

ВОЛЯ

говорила мне однажды, что перечитывает «Пушкинский дом» раз в полгода и всегда находит новые глубины. Я перечитывал не раз, иногда с удовольствием, но больше всего любил у Битова шутки, необязательности, проговорки, иногда довольно циничные остроты, и из всего «Пушкинского дома» больше всего люблю «Комментарии к общеизвестному», а из всех этих комментариев — «Павлик Морозов. Пионер, убитый кулаками. Шекспир заключается в том, что кулаками его убил родной дед». Эти прелестные взбрыки как раз и есть квинтэссенция его свободы, он позволяет себе сказать — и знать за собой — то, чего другие стараются вслух не говорить. Как в рассказе «Пенелопа» он первым рассказал о мужчине, который боится взаимности, — так с тех пор (1962) он и рассказывал о стыдном, и рассказывал гордо, победительно, даже нагло. Все стыдились, а он нет. И потому было ощущение, что он нечто тебе позволяет.

Нельзя, конечно, не сказать о битовских героинях — вот здесь то, что он внес в литературу, то, что принадлежит ему и только ему, особенно наглядно. Был новый тип девушки шестидесятых, которая не знает, чего хочет; у которой, по-горьковски говоря, душа не по телу. Телу жить бы да радоваться, а душе хочется небывалого. Они не были умны, но многое понимали; само это несоответствие довольно примитивного ума, довольно убогого опыта, но какого-то сверхчувственного знания и понимания было очень сексуально. Я думаю, это и был голос сексуальности, что в этом она и заключается — в особом рода догадливости, в знании жизни и людей, не приобретенном, а врожденном. Не мозг, а какой-то телесный ум. Что, Ася в «Монахов» умна? Или Фаина в «Пушкинском доме»? Они всегда старше героев, но не по возрасту — возрастная разница пренебрежимо мала; они взрослых, циничней, и они не стыдятся себя. Герой всегда стыдится, а женщина эта — нет: наоборот, перед ней все виноваты. Вот проза Битова была как эта женщина, которая перестала себя стыдиться и стала все себе позволять; и, как Леша верит Асе или Лева — Фаине, все тут же поверили, что эта проза особо интеллектуальна, интертекстуальна, мудра... А она просто такая, как автору хочется; он перестал оглядываться на других.

И, кстати, в поздних своих эскападах Битов тоже был восхитительно свободен. Вот говорят — и будут это вспоминать обязательно, — что он стал чуть ли не путинистом, чуть ли не крымшашистом, что отрезал от собственного диссидентства, что развалил Пен-центр, да мало ли что говорят. Но мне почему-то — применительно к Битову — это нравится; применительно к остальным — нет, а вот для него это очень органично. Каждая новая книга разрушает репутацию и созидает ее заново. Не боялся писать хуже — боялся писать одинаково. Ну и вел себя так, как захочется. Ностальгирует по империи — не скрывает. Ненавидит коллег — признается. Надоели либералы —

рассорился. Перед властью, кстати, тоже не приседал. Вообще наговорил такого, что как бы нарыл над собой курган; но если остальные делали это с надрывом, с внезапно обретенной почвенной серьезностью — поведение Битова с друзьями и коллегами чаще всего напоминало внезапную придуру алкоголика: вот он только что с тобой обнимался — и вдруг заорал: пошел нах! Никогда нельзя было уверенно сказать, что вы Битову приятны, что он вам рад. Как и Леша Монахов никогда не знал, рада ему Ася или нет, — и еще больше любил Асю за это. При этом, между нами говоря, Ася была шлюховата, но самые сильные чувства мы испытываем именно с такими женщинами. Проза и поведение Битова тоже внушают

сильные чувства: иногда это отвращение, но никогда — спокойное уважение. Уважать этого классика и умиляться ему могут только те, кто его не читал, — как и оценивать советскую власть в категориях «хорошо—плохо» могут только те, кто при ней не жил. Советская власть — это было, наверное, ужасно, но это было сложно и очень интересно, и писателей она формировала настоящих. Выросши в несвободе, они ценили свою волю — и с необычайной легкостью могли в один прекрасный момент развернуть свою судьбу. Из перспективных молодых писателей уйти в диссиденты. Из диссидентов — в почетные юбиляры. Из почетных юбиляров — мало ли куда. Иногда да, поиграть в демонстративных, хрестома-

тийных озлобленных маразматиков — просто ради поиска новой интонации; все это с точной рефлексией, с прекрасным осознанием всего, что говорится и делается. Иногда писателю полезней навлекать на себя гнев, чем соответствовать репутации.

А если кому-нибудь не нравится все написанное — правильно. Иногда ведь пишешь не как положено, а как хочется. Раз в жизни можно написать некролог не по канонам жанра, а в соответствии с характером и стилистикой покойного.

Дмитрий БЫКОВ,
обозреватель «Новой»

Юрий РОСТ — «Новая»

